

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Добролюбов и Чернышевский - Самоубийство Пиотровского - "Свисток"

Добролюбов и Чернышевский сделали в это время уже постоянными сотрудниками "Современника". Я только раскланивалась с ними, встречаясь в редакции. Хотя я с большим интересом читала их статьи, но не имела желания поближе познакомиться с авторами.

Старые сотрудники находили, что общество Чернышевского и Добролюбова нагоняет тоску. "Мертвечиной от них несет! - находил Тургенев [185]. - Ничто их не интересует!" Григорович уверял, что он даже в бане сейчас узнает семинариста, когда тот моется: запах деревянного масла и копти чувствуется от присутствия семинариста, лампы тускло начинают гореть, весь кислород они втягивают в себя, и дышать делается тяжело.

Тургенев раз за обедом сказал:

- Однако, "Современник" скоро делается исключительно семинарским журналом; что ни статья, то семинарист оказывается автором!

-- Не все ли равно, кто бы ни написал статью - раз она дельная, - проговорил Некрасов.

- Да, да! Но откуда и каким образом семинаристы появились в литературе? - спросил Анненков.

- Вините, господа, Белинского, это он причиной, что ваше дворянское достоинство оскорблено и вам приходится сотрудничать в журнале вместе с семинаристами, - заметила я. - Как видите, небесследна была деятельность Белинского: проникло-таки умственное развитие и в другие классы общества.

Анненков залился своим обычным смехом, а Тургенев, иронически улыбаясь, произнес:

- Вот какого мнения о нас, господа!

- Это мнение всякий о вас составит, если послушает вас, - отвечала я.

Григорович было хотел что-то заметить мне, но Тургенев остановил его на слове "голубушка, вы..." - перебив:

- Лучше не надо разуверять Авдотью Яковлевну, она еще выведет новое заключение в том же роде о нас, а мы и так поражены и уничтожены.

- Не думаю этого, вы облачились в такую непроницаемую броню, что не только словами, но и пулей ее не прошибешь.

- Разгорячилась! - заметил Дружинин.

- Имеете полное право смеяться надо мной, господа, потому что я сама нахожу смешным, что вздумала высказать свое мнение.

Панаев поспешил вмешаться в разговор, чтобы дать ему другое направление. Да я и сама не намерена была его продолжать и не отвечала на тонкую колкость Тургенева и поддакивание Анненкова. Я всегда прескверно себя чувствовала после таких сцен и страшно сердилась, что не могу быть сдержанной.

Некрасов поехал в город по делам журнала и, вернувшись на дачу, предупредил меня, что к завтрашнему обеду приедут несколько сотрудников. В числе приехавших на другой день гостей находился и Добролюбов.

За обедом Григорович потешал всех рассказами о литературных приживальщиках графа Кушелева, около которого они увивались и бесцеремонно таскали с него деньги; особенно комически передавал он сцены, происходившие между этими приживальщиками и Дюма, когда последний гостил у Кушелева.

Я иногда посматривала на Добролюбова, желая знать, какое впечатление на него производят разговоры, но ничего не могла подметить на его серьезном и спокойном лице.

После обеда я ушла в свою комнату. Через час вошел ко мне Панаев и сказал, что все отправляются гулять, а Добролюбов отказался идти.

- Неловко! человек приехал в первый раз - и оставить его одного... пожалуйста, займи его! - прибавил он.

Но я отказалась наотрез, сказав, что с меня достаточно общества и старых литераторов, а с новыми я не намерена знакомиться.

- Однако как же его одного оставить? Некрасов, может быть, не скоро проснется, что же он будет делать?

- Уговори его идти вместе с вами, а я не желаю беседовать с ним.

Панаев ушел, а я, увидав из окна своей комнаты, что все, в том числе и Добролюбов, отправились на прогулку, вышла в сад и села читать на скамейку у дома. Вдруг, к крайней моей досаде, я увидала Добролюбова, идущего ко мне. Он объяснил, что вернулся назад, потому что не любит больших прогулок; да притом же ему скучно в обществе людей, которых он мало знает.

- Я думаю, и им приятнее быть в своей компании, - сказал Добролюбов и спросил меня: - А вы отчего не пошли на прогулку?

- Вам скучно находиться в обществе людей, которых вы мало знаете, а мне оттого, что я давно их знаю, - отвечала я.

Добролюбов на это сказал мне:

- Я заметил, что вы ни с кем не разговаривали весь обед.

- Я так давно знаю всех обедавших, что мне не о чем с ними разговаривать.

- Мне интересно знать, что за личность Дюма? Он ведь у вас часто бывал?

- Интересного ничего не могу сообщить о нем.

- Однако какое он сделал на вас впечатление?

- Он произвел на меня одно впечатление, что у него большой аппетит и что он храбрый человек.

- В чем он проявил свою храбрость?

- Ел по две тарелки ботвиньи, жареные грибы, пироги, поросенка с кашей, - все зараз! На это надо иметь большую храбрость, особенно иностранцу, отроду не пробовавшему таких блюд...

После некоторого молчания Добролюбов удивил меня, сказав:

- А знаете ли - вы отчасти способствовали моему сотрудничеству в "Современнике".

- Это каким образом?! - воскликнула я.

- Понятно, это было так давно, что вы и забыли, но я отлично все помню, потому что это было мое первое посещение редакции. Я прислал свою рукопись с письмом на имя Ивана Ивановича Панаева и пришел за ответом. Он возвратил мою рукопись с наставлением: лучше прилежнее готовить свои уроки, чем тратить бесполезно время на сочинение повестей.

- Так это были вы - тот самый юноша в мундирчике какого-то казенного заведения, который, выйдя из кабинета Панаева, не знал, как ему уйти из передней. Мне тогда стало жаль вас; я догадалась, что, вероятно, Панаев слишком резко высказал нелестное мнение о вашем произведении, и поспешила к вам на помощь. Я взяла у вас рукопись, сказав, что передам ее Некрасову, которого теперь нет дома, а чтобы вы зашли за ответом через несколько дней... Видите, я тоже отлично все помню, но только никак не догадывалась, когда в прошлом году увидела вас в редакции и меня познакомили с вами, что вы тот самый юноша, от которого я взяла рукопись, потому что вы показались мне уже человеком лет 26-ти; впрочем, я ведь только минуту и видела вас!.. Значит, я была покровительницей при вашем вступлении на литературное поприще? - прибавила я с шутливой важностью.

- Конечно, - отвечал Добролюбов, улыбаясь, - вы имеете полное право считать себя моей покровительницей.

В эту минуту в сад пришел Некрасов и завел разговор с Добролюбовым о составе следующего номера журнала, а я отправилась распорядиться, чтобы подали чай.

Я очень хорошо помню свой разговор с Панаевым по поводу переконфуженного юноши в казенном мундирчике, у которого я взяла рукопись; когда он ушел, я пошла в кабинет Панаева и сказала ему:

- Ты, должно быть, так огорошил бедного юношу, что он не знал, как ему найти дверь, чтобы убежать.

- Я ему только высказал правду, я пробежал его рукопись, она плоха, как и следовало ожидать; ну, что может написать такой мальчик?

- Да нынче мальчики развитее, чем были вы тридцать лет тому назад, когда окончили свое воспитание, - заметила я. - Сами в литературе разыгрываете таких же недоступных директоров-чиновников, над которыми смеетесь. Тебе следовало принять участие в юноше, ободрить его, а не читать ему наставление, чтобы он не смел и думать пробовать свои силы.

Я поинтересовалась узнать у Некрасова, был ли у него юный автор за рукописью, которую я ему передала.

Некрасов отвечал мне, что был и взял свою рукопись назад, хотя он и предлагал ему переделать ее и напечатать.

- Не захотел сам, - прибавил Некрасов. - Он поразил меня, когда я с ним побеседовал: такой умный, развитой юноша, но, главное - когда он мог успеть так хорошо познакомиться с русской литературой? Оказалось, что он прочитал массу книг и с большим толком.

Может быть, Некрасов и сказал мне тогда фамилию этого юноши, но у меня плохая память на фамилии, так что, когда потом он, называя Добролюбова, говорил, что нашел себе хорошего помощника по библиографическому отделу (Некрасов в то время сам разбирал новые книги), то я не догадывалась, что это одно и то же лицо.

Добролюбов через неделю приехал еще раз на дачу; у меня в этот день с утра гостила сестра с племянницами, и я повела Добролюбова в лес за грибами. Он никогда не собирал их,

притом плохо видел, и мы потешались над тем, как он чуть не разбил свои очки о сучок и не заметил огромного красного гриба, около которого стоял. Он все время шутил и уверял, что сделается завзятым собирателем грибов.

Так как время приближалось к концу августа, то надо было перебираться с дачи. Некрасов объявил мне, что принанял к нашей общей квартире две комнаты для Добролюбова и велел пробить дверь в людскую, чтобы он мог иметь теплое сообщение с редакцией [186].

Я, признаюсь, поворчала на это, потому что у меня и так было много всяких хлопот с постоянными гостями, ежедневно набиравшимися и к завтраку, и к обеду.

Когда мы перебрались с дачи, то нашли Добролюбова уже водворившимся в двух маленьких комнатах; при его квартире была кухня, к которой он имел особый выход.

Добролюбов сказал мне, улыбаясь:

- Вот и я попал на литературное подворье. Он вспомнил, что я, беседуя с ним в первый раз на даче, выразилась, что наша квартира точно литературное подворье, так как у нас постоянно жили литераторы.

- Не думаю, - заметила я, - чтобы вам было удобно жить в таких маленьких комнатах и так близко от нашей людской: вам будут мешать работать.

- В меблированных комнатах еще более неудобств, - отвечал он.- Я часто оставался без обеда: заработаешься и забудешь вовремя потребовать его, а потом принесут бог знает откуда обед холодный, скверный; съешь его и почувствуешь боль в желудке, а я давно уже страдаю хронической болезнью желудка и чувствую, как слабею от этой болезни.

Сначала я посылала Добролюбову в комнату утренний чай и завтрак, потому что Некрасов и Панаев вставали поздно и в разное время; но немного спустя он попросил у меня позволения приходить пить чай ко мне (я вставала рано), ссылаясь на то, что в это время без него уберут его комнаты, и он тотчас же после чая может сесть за работу.

За утренним чаем я заставляла Добролюбова есть что-нибудь мясное, потому что иногда он приходил к чаю, совсем не ложась спать и проработав всю ночь.

Так как при этом я настояла, чтобы Добролюбов после еды отдыхал с полчаса, то к чаю начал являться и Чернышевский, чтобы, пользуясь этим свободным временем, поговорить с Добролюбовым.

Их отношения удивляли меня тем, что не были ни в чем решительно схожи с взаимными отношениями других окружавших меня лиц.

Чернышевский был гораздо старше Добролюбова, но Держал себя с ним, как товарищ.

Вскоре после переезда с дачи Некрасов начал поправляться, и у него исчезли мрачные мысли о близкой смерти. Вот как это случилось.

Я коротко, с детства, знала одного молодого медика, года два как окончившего курс.

Однажды он заехал ко мне, и я ему рассказала, что заграничные доктора нашли у Некрасова горловую чахотку, посылали его жить на остров Мадеру, но он возвратился в Петербург.

- Не так же ли ошиблись доктора в болезни его горла, как ошиблись относительно одного из моих пациентов, которому предсказывали близкую смерть от горловой чахотки, а он не только остался жив, но выздоровел совершенно! Как бы мне посмотреть горло у Некрасова?

Я с большим трудом уговорила Некрасова показать горло, и он согласился на это крайне неохотно. Молодой медик, внимательно осмотрев и исследовав его, произнес:

- Через два месяца у вас совершенно заживет горло. Та же самая болезнь, которая была у моего пациента. Некрасов в волнении спросил:

- И голос вернется?

- Командовать полком вам трудно будет, но говорить вы будете громче и не так сипло, как теперь.

- Что же это такое значит? Меня лечили не так?

- В практике самых опытных докторов бывают ошибки в диагнозе болезни, особенно если они не специалисты по какой-нибудь части. Если бы с самого начала, как вы почувствовали боль в горле, вас лечили от той болезни, какая у вас оказалась, то в две недели вы бы выздоровели, но теперь болезнь запущена, и излечение будет продолжительнее.

По желанию молодого медика был собран консилиум из специалистов (Шипулинского, Григоровича), который вполне подтвердил поставленный им диагноз и предположенную систему лечения. Месяца через два Некрасова уже нельзя было узнать, горло его быстро стало поправляться, а вместе с тем исчезли и мрачные мысли о близкой смерти.

Выздоровев, Некрасов совершенно забыл советы молодого медика - вести строго правильную жизнь. Когда я напоминала ему об этом, он доказывал, что и так всю жизнь прожил в лишениях: в молодости от неимения средств, потом от болезни, и теперь требуют, чтобы он жил не так, как ему хочется.

- Не только для вас, - заметила я, - а и для богатырского организма такой образ жизни, какой вы ведете, был бы вреден; вы превращаете ночь в день, а день в ночь, и притом вечно находитесь в возбужденном состоянии.

- Я очень хладнокровно играю в карты, - отвечал он.

- Трудно поверить, чтобы, ведя такую большую игру, можно было сохранять хладнокровие.

- Я скоро покончу игру! - говорил Некрасов. - А теперь глупо бросать ее, когда мне везет такое дурацкое счастье.

Но он уже не раз повторял, что скоро бросит игру.

У Некрасова появились приметы в игре: напр., он брал из конторы "Современника" тысячи две рублей и вкладывал их в середину своих десятков тысяч рублей для счастья, или полагал, что непременно проиграет, если выдаст деньги в тот день, когда вечером предстояла большая игра.

В "Современнике" сотрудничал один молодой человек, И.А. Пиотровский, который постоянно брал вперед деньги у Некрасова. К несчастью, случилось однажды так, что утром Пиотровский выпросил у Некрасова денег, а вечером тот проиграл крупную сумму. Не прошло недели, как Пиотровский прислал к Некрасову с письмом какую-то женщину, снова прося денег.

Некрасов дал ответ женщине, что не может исполнить просьбу Пиотровского, а когда она ушла, стал ворчать на то, что Пиотровский опять просит денег.

- Да еще глупейшее письмо пишет, - прибавил он, - угрожая, что, если я откажу в трехстах рублях, то ему придется пустить себе пулю в лоб.

- Может быть, и в самом деле он в безвыходном положении, - заметила я. - Пошлите ему денег.

- Не дам!.. Он не более недели тому назад взял у меня 200 рублей, тоже говоря, что у него петля на шее. Да и я по его милости проигрался.

Я посмеялась, что Некрасов превратился в старую купчиху, которая верит во всякие приметы.

- Знаю, что все это глупо, но я положил себе за правило не давать денег в тот день, когда предстоит мне большая игра, потому что всегда остаюсь в проигрыше! Да и вчера сосчитал, сколько роздано вперед денег по журналу, оказалось около 25 тысяч.

- Ну, еще 300 рублей - капля в море! - заметила я.

Некрасов упрямылся, но потом сдался и обещал завтра же послать Пиотровскому 300 рублей.

На другой день Некрасов встал почти к самому обеду; когда подавали пирожное, вошел Чернышевский. Он был так бледен, что я шепнула Добролюбову - не случилось ли какого несчастья в семье у Чернышевского. Добролюбов спросил его, что с ним.

Чернышевский взволнованным голосом ответил:

- Сейчас только от несчастного Пиотровского, он застрелился!

Все были поражены таким ужасным известием, а Некрасов, страшно изменяясь в лице, вскочил с своего места и ушел в кабинет.

Я одна поняла, - почему такое удручающее впечатление произвело на него это известие, другие же приписали его волнение нервности [187].

О самоубийстве Пиотровского сообщил Чернышевскому один из товарищей несчастного, и Чернышевский поспешил к нему на квартиру, но нашел его уже мертвым.

Оказалось, что бедный молодой человек не бог знает как и запутался в долгах: он был должен всего тысячу рублей, но мысль, что ему придется сидеть в долговом отделении, которым ему грозил один из кредиторов, если он немедленно не уплатит ему по векселю 300 рублей, побудила его покончить с жизнью.

Надо же, чтобы обстоятельства сложились таким роковым образом, что Некрасову предстояла вечером большая игра, а на другой день он встал поздно и не успел послать Пиотровскому денег.

Некрасов дал Чернышевскому денег, прося распорядиться похоронами несчастного молодого человека и уплатой всех его долгов.

Три дня Некрасов не выходил из кабинета и был сильно потрясен; он говорил мне:

- Ну, могло ли мне прийти в голову, что из-за трехсот рублей человек может застрелиться? Это ужасно! Я охотно дал бы десять тысяч, чтоб избежать такого мучительного состояния, в котором теперь нахожусь...

Добролюбов часто говорил мне о своих семейных делах; на его руках остались сестра и маленький брат, воспитание которых очень его заботило, так как они уже подрастали. Раз, придя утром пить чай, он сказал мне:

- У меня до вас большая просьба, да как-то стыдно обращаться с ней к вам, у вас и так много хлопот с хозяйством, но вы, пожалуйста, откровенно скажите мне, если вам невозможно исполнить мою просьбу.

Я просила его, не стесняясь, высказать мне все, что ему нужно.

- Я вчера получил письмо из Нижнего и нахожу, что долее нельзя оставлять там брата Володю, иначе мальчик пропадет.

- Так выписывайте его скорей к себе! - отвечала я.

- А вы поможете мне в заботах о нем?

- Вы займитесь его умственным и нравственным развитием, а моя помощь ограничится гигиеническими заботами [188].

- А вы думаете, что гигиена не важна при воспитании детей? Я каждую минуту чувствую это на себе. Ведь я нахожу большую перемену в себе с тех пор, как очутился в других гигиенических условиях, о которых вы заботитесь.

- Я нахожу, что мои заботы принесут вам мало пользы, если вы будете продолжать так много работать и так сильно, принимать к сердцу всякую мелочь, касающуюся журнала. Вы добровольно запрягли себя чуть ли не в каторжную работу и не даете себе отдыха.

- Иначе нельзя вести журнальное дело, если им добросовестно заниматься.

- Как же другие журналисты находят время и на прогулки, и на театры, и другие развлечения?

- Это люди особенные.

- Благоразумные! - подсказала я. Добролюбов улыбнулся и проговорил:

- Так я, по-вашему, неблагоразумный человек? Хорошо, я постараюсь сделаться благоразумным; каждый вечер буду уходить из дому.

- Было бы хорошо уж и то, если бы вы хоть раз в неделю давали себе отдых.

Добролюбов очень был доволен приездом маленького брата и до мелочей заботился о нем.

Я иногда удерживала рвение Добролюбова в занятиях с братом, потому что мальчик был очень нервный, худенький, да и самому Добролюбову была вредна новая прибавка к занятиям.

"Свисток" в "Современнике" всегда сочинялся после обеда, за кофеем. Тут же импровизировались стихотворения: Добролюбовым, Панаевым и Некрасовым; в "Свистке" принимал участие и Курочкин. Мысль ввести

"Свисток" принадлежала Добролюбову [189]. Когда из-за "Свистка" в литературе поднялась против "Современника" целая буря, я шутя говорила Добролюбову: "Что, освистали вас?"

- А мы еще громче будем свистать; эта руготня только подзадорит нас, как жаворонков в клетке, когда начинают, во время их пения, стучать ножом о тарелку. "Свисток" сделает свое дело, осмеет все пошлое, что печатают бездарные поэты. Seriously разбирать всю эту глубокомысленную поэтическую пошлость и фальшь не стоит, за что утруждать бедного читателя, а "Свисток" он прочтет легко и еще посмеется.

В 1859 году летом Добролюбов, по совету доктора, уехал на шесть недель в Старую Руссу, но вернулся ранее срока [190]. Я его побранила за это, но он оправдывался тем, что лечение не принесло ему никакой пользы, а между тем в журнале была помещена статья (забыла какая), которая ни под каким видом не должна была быть напечатана, так как резко противоречила духу журнала. При этом он шутил, сказав, что если б не боялся меня, то вернулся бы еще ранее.

- Я бы вас тогда прогнала назад, не впустила бы даже переночевать в квартиру. Вы не можете жить без работы, как пьяница без водки.

- Даю вам слово, что буду умерен в работе, - отвечал он.

Вначале, когда Добролюбов только что поселился у нас, Тургенев обходился с ним свысока.

У Тургенева каждую неделю обедали литераторы.

Раз, придя в редакцию, он сказал Панаеву, Некрасову и находившимся тут некоторым старым знакомым литераторам:

- Господа! не забудьте: я вас всех жду сегодня обедать ко мне. - И затем, поворачив голову к Добролюбову, прибавил: - Приходите и вы, молодой человек.

Тургенев наверно услышал бы громкий смех Добролюбова, если бы он смеялся, как другие. Но он только улыбался.

Тургенев в это время наслаждался вполне своей литературной известностью, держал себя очень величественно с молодыми писателями и, вообще, со всеми незначительными лицами.

Я посмеялась Добролюбову, что он, должно быть, считает себя сегодня счастливейшим человеком, удостоившись приглашения на обед от главного литературного генерала.

- Еще бы! такая неожиданная честь.

- Что же, пойдете? - спросила я, хотя была уверена, что он не пойдет после такого приглашения.

- К сожалению, у меня нет фрака, а в сюртуке не смею явиться к генералу, - отвечал, улыбаясь, Добролюбов.

Панаев и Некрасов были удивлены, что Добролюбов не хочет ехать вместе с ними на обед к Тургеневу. Они не обратили внимания на тон приглашения.

- Вас же приглашал Тургенев, - сказал ему Некрасов.

- После такого приглашения я никогда не пойду к Тургеневу.

Некрасов с удивлением произнес:

- Да он всех так пригласил.

- Вы все его очень короткие знакомые, а я нет.

- Это у него такая манера, - заметил Панаев.

Должно быть, Некрасов намекнул Тургеневу, почему Добролюбов не пришел обедать, потому что Тургенев в следующий раз сделал ему любезное приглашение, но это не тронуло Добролюбова, и он все-таки не пошел.

Тургенев заметно стал относиться внимательнее к Добролюбову и начал заводить с ним разговоры, когда встречал его в редакции, или обедая у нас, потому что литературная известность Добролюбова быстро росла.

Тургенева заметно коробило, что Добролюбов все-таки не является к нему на обеды, и он однажды сказал Панаеву:

- Привези ты его обедать ко мне, уверь его, что он не застанет у меня общества, в котором никогда не бывал.

Наконец Тургенев понял, что причина, по которой Добролюбов не является на его обеды, заключается вовсе не в страхе встретиться с аристократическим обществом.

- В нашей молодости, - сказал он Панаеву, - мы рвались хоть посмотреть поближе на литературных авторитетных лиц, приходили в восторг от каждого их слова, а в новом поколении мы видим игнорирование авторитетов. Вообще сухость, односторонность, отсутствие всяких эстетических увлечений, все они точно мертворожденные. Меня страшит, что они внесут в литературу ту же мертвечину, какая сидит в них самих. У них не было ни детства, ни юности, ни молодости - это какие-то нравственные уроды.

- Это нам лишь кажется, что новое поколение литераторов лишено увлечений. Положим, у нас увлечений было больше, но зато у них они дельнее, - возразил Панаев.

- На тебя, кажется, семинарская сфера начинает влиять, - с пренебрежительным сожалением произнес Тургенев.

- Господа! - прибавил он, обращаясь к присутствующим в комнате. - Панаев начинает отрекаться от своих традиций, которым с таким неуклонным рвением следовал всю свою жизнь.

- Отчего же не сознаться, если это правда: теперь молодые люди умнее, дельнее и устойчивее в своих убеждениях, нежели были мы в те же лета, - отвечал Панаев.

Тургенев, с притворным ужасом обращаясь к присутствующим, воскликнул:

- Господа! Неужели мы дожили до такого печального времени, что увидим нашего элегантного Панаева в сюртуке, застегнутого на все пуговицы, с сомнительной чистоты воротничком рубашки, без перчаток и в очках!

Добролюбов и Чернышевский всегда носили сюртуки и очки, но, разумеется, никогда не ходили в грязном белье.

- Мое зрение стало слабо, и я должен скоро надеть очки! - отвечал Панаев.

- Ну, нет, - воскликнул Тургенев, - мы все, твои давнишние друзья, не допустим тебя сделаться семинаристом. Мы спасем тебя, несмотря на все старания некоторых личностей обратить тебя в поборника тех нравственных принципов, которых требуют от людей семинарские публицисты-отрицатели, не признающие эстетических потребностей жизни. Им завидно, что их вырастили на постном масле, и вот они с нахальством хотят стереть с лица земли поэзию, изящные искусства, все эстетические наслаждения и водворить свои семинарские грубые принципы. Это, господа, литературные Робеспьеры; тот ведь тоже не задумался ни минуты отрубить голову поэту Шенье.

- Бог с тобой, Тургенев, какие ты выдумал сравнения! - воскликнул Панаев в испуге. - Ты, ради Бога, не делай этих сравнений в другом обществе.

- Ты наивен, неужели ты думаешь, что статьи этих семинаристов читают в порядочном обществе?

- Однако тогда бы подписка на "Современник" с каждым годом не увеличивалась!

- По старой памяти ждут от "Современника" прежнего его стремления к развитию в обществе художественных вопросов... Меня удивляет, как Некрасов, с его практичностью, не видит, что семинаристы топят журнал в грязной луже. Впрочем, он теперь слишком занят другим делом. Он добивается быть капиталистом и несомненно им сделается, так что я буду перед ним бедняком. Ему нипочем теперь бросать тысячи на свои прихоти, а я должен призадумываться в сотне рублей, иначе не сведу дохода с расходом. Не понимаю, прежде это же имение давало вдвое более доходов.

С тех пор, как Тургенев получил наследство [191], он постоянно жаловался, что получает доходов с имения очень мало, и в порыве своих скорбей проговаривался, что терпит много убытка от распушенности мужиков: "Я им не внушаю никакого страха, - говорил он. - Прежде мужик с трепетом шел на барский двор, а теперь лезет смело и разговаривает со мной совершенно запанибрата, да еще с какой-то язвительной улыбочкой смотрит на тебя: "знаю, что ты, мол, тряпка". Что убийственно, - сам чувствуешь, что он имеет полное право считать меня за тряпку, потому что все с нахальством обманывают и обкрадывают меня..."

Скоро я стала замечать, что Панаев начинает охладевать к своим прежним приятелям. Впрочем, и немудрено: они уж чересчур бесцеремонно принялись сплетничать на него, рассердившись на то, что А.В.Головнин, давно знакомый с Панаевым, сделавшись министром народного просвещения, присылал ему приглашительные записки на свои вечера.

Головнин был первый министр просвещения, которым литераторы могли быть вполне довольны, потому что он делал по возможности все, что мог, для писателей.

Привожу одну записку его к Панаеву:

"Сделайте одолжение, почтеннейший Иван Иванович, доставьте мне, если возможно, завтра биографические сведения о г. Островском, а также и о его литературной деятельности, и сверх того, чин, имя и адрес. Мне нужно обратить внимание Государя на его превосходную драму "Козьма Минин" и при этом рассказать все, что могу, хорошенько об авторе.

Преданный Головнин".

Согласно представлению Головнина, Островский получил от государя перстень.

Некоторые литераторы не благоволили к Головнину и отзывались о нем с весьма невыгодной стороны. Панаев горячо защищал Головнина, и потому литераторы стали везде говорить, что он перед ним лакействует. Одним из главных поводов к озлоблению против Головнина послужила следующая записочка, которую от него получил Панаев и показывал своим друзьям. Вот ее текст:

"Почтеннейший Иван Иванович, я весьма желал бы познакомиться с вашим главным сотрудником г. Чернышевским. Уведомьте меня, пожалуйста, можете ли вы пожаловать ко мне с ним завтра, в пятницу, в 8 часов вечера. В таком случае я останусь дома.

Преданный Головнин".

Раз, проходя к себе через редакцию, я увидела в передней маленького господина, стоявшего в недоумении, так как лакея не было. Полагая, что он пришел по какому-нибудь делу в редакцию, я спросила его, кого он желает видеть. "Дома Иван Иванович?" - спросил он меня.

Я пригласила его войти в комнату и в то же время позвонила лакею, и пока последний явился, посетитель снял сам с себя пальто и повесил на вешалку. Я велела явившемуся лакею проводить посетителя в кабинет Панаева, а сама вернулась в редакцию сказать Панаеву, что его спрашивает какой-то господин. Панаев что-то рассказывал присутствовавшим и пошел только тогда, когда dokonчил рассказ, так что посетителю пришлось ждать его довольно долго. Когда посетитель удалился, Панаев страшным образом разбил лакея и сказал мне: "Пожалуйста, прогони сейчас же Андрея". Меня очень удивило, что Панаев придрался к лакею из-за такого пустяка, и я поняла раздражение его только тогда, когда он объяснил, что посетитель был - министр Головнин [192].

Головнин недолго оставался на своем посту. Как, вообще, некоторые высшие сановники начали в это время смотреть на литературу, может служить доказательством следующее приглашение, полученное Панаевым, через И.А. Гончарова, от попечителя петербургского учебного округа, князя Щербатова:

"Князь Щербатов поручил мне просить вас, любезнейший Иван Иванович, пожаловать к нему в пятницу вечером и жаловать в прочие пятницы. Там, кажется, будут и другие редакторы и литераторы, с которыми со всеми он хочет познакомиться. Только он просит извинить его, что, за множеством дел и просителей, он не может делать визитов. Вечер же самое удобное время, говорит он, даже когда понадобится объясниться по журнальным делам. Он спрашивал меня, кто теперь есть здесь из наших литераторов (разумеется, порядочных). Я назвал П.В. Анненкова, Григоровича, Толстого; он усердно приглашает и их. О Василии Петровиче Боткине я не упомянул, потому что не знал о приезде его. Помогите склонить их поехать к князю, там они найдут немало наших. А как давно с вами не видались; не увидимся ли во вторник, а не то так в субботу у Языкова? Ваш Гончаров.

Князь считает вас уже за знакомого и ожидает прямо к себе без церемоний".

Характер каждого человека лучше всего узнается в его домашней жизни.

Я всегда изумлялась скромности Чернышевского как семьянина и отсутствию в нем всяких требований для себя комфорта. После продолжительной работы он был всегда весел, точно все время наслаждался легким и приятным занятием. Его кабинет был маленький, и он целый день проводил в нем за работой. Я заставляла его иногда за двумя работами. Он спешил выпуском перевода "Истории" Шлоссера и диктовал перевод молодому человеку; пока тот записывал, Чернышевский в промежутки сам писал статью для "Современника" или же читал какую-нибудь книгу. Кроме древних языков, Чернышевский знал еще несколько европейских и притом знал превосходно.

Однажды Добролюбов, по поводу моего замечания о необыкновенной умеренности Чернышевского в обыденной жизни, сказал мне:

- Чернышевский свободен от всяких прихотей в жизни, не так как мы все, их рабы; но, главное, он и не замечает, как выработал в себе эту свободу...

Обыкновенно люди, способные закалить себя от всяких материальных удобств, требуют, чтобы и другие также отrekliсь от них, но Чернышевскому и в голову не приходило удивляться, что другие люди **до** излишества неумеренны в своих прихотях.

Чернышевский очень был близорук, вследствие чего с ним нередко происходили смешные *qui pro quo*: например, раз, придя ко мне в комнату, он раскланялся с моей шубой, которая брошена была на стуле и которую он принял за даму; в другой раз возле него на стуле лежала моя муфта, и он нежно гладил ее, воображая, что это кошка, и т.п.

Близорукость мешала Чернышевскому быть наблюдательным; зато Добролюбов обладал наблюдательностью в высшей степени: от него не укрывалось ничто фальшивое в людях, как бы они ни старались замаскировать эту фальшивость. Когда в редакции бывали

литературные обеды, всегда многолюдные, то от Добролюбова не ускользала ни одна фраза, ни одно выражение лица присутствующих на обеде.

Добролюбов всегда сидел на этих обедах возле меня и беседовал со мной, почти не принимая участия в общем разговоре. Между сотрудниками "Современника" Тургенев был, бесспорно, самый начитанный, но, с появлением Чернышевского и Добролюбова, он увидел, что эти люди посерьезнее его знакомы с иностранной литературой.

Тургенев сам сказал Некрасову, когда побеседовал с Добролюбовым:

- Меня удивляет, каким образом Добролюбов, недавно оставив школьную скамью, мог так основательно ознакомиться с хорошими иностранными сочинениями! И какая чертовская память!

- Я тебе говорил, что у него замечательная голова! - отвечал Некрасов. - Можно подумать, что лучшие профессора руководили его умственным развитием и образованием! Это, брат, русский самородок... утешительный факт, который показывает силу русского ума, несмотря на все неблагоприятные общественные условия жизни. Через десять лет литературной своей деятельности Добролюбов будет иметь такое же значение в русской литературе, как Белинский.

Тургенев рассмеялся и воскликнул:

- Я думал, что ты бросил свои смешные пророчества о будущности каждого нового сотрудника в "Современнике"!

- Увидишь, - сказал Некрасов.

- Меня удивляет - возразил Тургенев, - как ты сам не видишь огромного недостатка в Добролюбове, чтобы можно было его сравнить с Белинским! В последнем был священный огонь понимания художественности, природное чутье ко всему эстетическому, а в Добролюбове всюду сухость и односторонность взгляда! Белинский своими статьями развивал эстетическое чувство, увлекал ко всему возвышенному!.. Я даже намекал на этот недостаток Добролюбову в моих разговорах с ним и уверен, что он примет это к сведению.

- Ты, Тургенев, забываешь, что теперь не то время, какое было при Белинском. Теперь читателю нужны разъяснения общественных вопросов, да и я положительно не согласен с тобой, что в Добролюбове нет понимания поэзии; если он в своих статьях слишком напирает на нравственную сторону общества, то сам сознайся - это необходимо, потому что она очень слаба, шатка даже в нас, представителях ее, а уж о толпе и говорить нечего.

- Ну, оставим этот разговор, - как бы с неудовольствием прервал Тургенев, - скажи-ка мне лучше, сколько у тебя капитала. Всяду только и говорят, что ты выиграл значительный куш то у одного, то у другого.

- Выиграл-то я изрядный куш, но половину его отыграли у меня... Что-то начинает мне надоедать игра!

- И не смей оставлять ее, пока везет тебе счастье! Подумай, ведь дело идет к старости, а чтобы она была сносна, нужно окружить себя комфортом, а на это надо много денег!

- Да, я развратился; мне теперь, по моим привычкам, много нужно денег.

- Ошибаешься, это не развлечение, а доказательство, что в тебе развились потребности к изящному в жизни. Вспомни, как мы с тобой в сороковых годах, бывало, пожирали обеды в 50 коп., а теперь нас стошнило бы, если б только посмотрели на такой обед. Прежде я, приезжая в деревню к матери, был доволен расположением какой-нибудь Натальи из девичьей, от которой несло русским маслом и опойковыми башмаками. А теперь такая женщина возбудила

бы отвращение, если б приблизилась ко мне. Скорее тогда мы имели развращенные понятия, а теперь только явились в нас потребности к изящному.

Когда Тургенев убедился, что Добролюбов не поддается на его любезные приглашения, то оскорбился и начал говорить, что в статьях Добролюбова виден инквизиторский прием: осмеять, загрязнить всякое увлечение, все благородные порывы души писателя; что он возводит на пьедестал материализм, сердечную сухость и с нахальством глумится над поэзией; что никогда русская литература, до вторжения в нее семинаристов, не потворствовала мальчишкам, из желания приобрести этим популярность. Кто любит русскую литературу и дорожит ее достоинством, тот должен употребить все усилия, чтобы избавить ее от этих кутейников-вандалов.

Эти воззвания Тургенева доходили до Добролюбова, **но** он не обращал на них внимания и удивлялся только одному: к чему об этом передают ему?

- Неужели думают, - говорил он, - что я испугаюсь таких угроз и в угоду Тургеневу изменю свои убеждения. Странные понятия у этих господ!

Мне было странно видеть, что, когда соберутся вместе Чернышевский, Добролюбов, МА.Антонович и А.Н.Пыпин, то они никого не бранят, и никто из них не интересуется литературными дрязгами и сплетнями.

Через несколько месяцев по приезде маленького брата Добролюбова он выписал и меньшого своего брата Ваню.

Кроме забот о сестрах и братьях, Добролюбову пришлось заботиться пристроить на службу также приехавшего к нему дядю Василия Ивановича; Добролюбов с детства не видал его, потому что оба они жили в разных городах.

Надо было удивляться, когда Добролюбов успевал перечитать все русские и иностранные газеты, журналы, все выходящие новые книги, массы рукописей, которые тогда присылались и приносились в редакцию. Авторам не нужно было по несколько раз являться в редакцию, чтобы узнать об участи своей рукописи. Добролюбов всегда прочитывал рукопись к тому дню, который назначал автору.

Много времени терялось у Добролюбова на беседы с новичками писателями, желавшими узнать его мнение о недостатках своих первых опытов. Если Добролюбов видел какие-нибудь литературные способности в молодом авторе, то охотно давал советы и поощрял к дальнейшим работам. Немало труда и времени нужно было употреблять также на исправление некоторых рукописей. Наконец, приходилось беспрестанно отрывать отдела и для объяснений с авторами. Таким образом, Добролюбов мог приниматься за писание своих статей только вечером и часто засиживался за работой до 4 часов утра. Изредка он для отдыха приходил на нашу половину к вечернему чаю и был доволен, если его братья, беседуя с ним, высказывали умно и толково свои мнения о прочитанной книге, которую он давал им. Добролюбов говорил мне:

- Мальчики не глупые, только надо позаботиться дать им прочное образование, развить в них честное направление, и это моя обязанность, а между тем я плохо выполняю ее.

Я успокаивала его, уверяя, что теперь для мальчиков еще не так важна его забота о них, а когда они подрастут, тогда и его жизнь не будет такая лихорадочная, и он может руководить сам их воспитанием.

По утрам Добролюбов беседовал с Некрасовым относительно состава книжек "Современника" и, вообще, о статьях, предназначавшихся для напечатания в журнале.

Он очень заботился, чтобы ни одна фраза не противоречила направлению журнала, и волновался, если авторы статей выражали свои мысли слишком многословно.

Особенным многословием отличался литератор Ш. Однажды Добролюбов настаивал на необходимости выкинуть из его статьи три страницы.

- За что же, - говорил Добролюбов, - заставляя читателя терять время на ненужную болтовню автора, разводящего на трех страницах мысль, которую можно выразить двумя фразами; да и добро бы, если бы эта мысль была нова, а то самая избитая.

- Не стоит поднимать возню! - заметил Некрасов, - потом объясняйся с Ш.

- Я беру на себя эти объяснения.

- Это не избавит и меня от них. И так на "Современника" все точат зубы! Обрадуются, что у редакции выйдет неприятность с Ш..., и пойдут разные толки.

- Редакция обязана дорожить мнением читателя, а не литературными сплетнями, - отвечал Добролюбов. - Если бояться всех сплетен и подлаживаться ко всем требованиям литераторов, то лучше вовсе не издавать журнала; достаточно и того, что редакции нужно соотноситься с цензурой. Пусть господа литераторы сплетничают, что хотят, неужели можно обращать на это внимание и жертвовать своими убеждениями?! Рано или поздно правда разоблачится, и клевета, распушенная из мелочного самолюбия, заклеится презрением самих же клеветников.

Добролюбов говорил это, очевидно, по поводу распространяемых слухов, будто бы он и Чернышевский являются всюду на сборища молодежи и льстят ей до самоунижения, добиваясь популярности, так как сознают, что их бездарные статьи не могут иметь никакого значения в публике, и они подзадоривают мальчишек, чтобы те кричали об их статьях.

Я, как очевидица образа жизни Добролюбова, могу удостоверить, что он только по утрам видел молодых людей, которые являлись в редакцию с рукописями, и не бывал ни на каких сборищах. Очень часто по вечерам я уговаривала его бросить работу и пойти провести время у кого-нибудь из его семейных знакомых; но он постоянно отговаривался тем, что ему надо торопиться окончить чтение рукописи или дописать статью. Добролюбов не любил даже разговаривать, когда в редакции собиралось много народу.

Чернышевский также не был способен заискивать популярности, и если к нему ходили молодые люди, то лишь с просьбами о работе. Правда, что в течение одной зимы у жены Чернышевского собиралось по субботам много студентов, но - для танцев. Чернышевский под шум веселого говора танцующих и звуки фортепьян работал у себя в кабинете.

Когда Добролюбов писал свои статьи и ему приходилось делать ссылки на книги, журналы и газеты, он не нуждался в справках: благодаря своей удивительной памяти он отлично помнил, где и что было напечатано.